



Семечко

Юрий Шабунин

Юрий Шабунин

Семечко

<https://litres.ru/73992106>

SelfPub; 2026

Аннотация

-1875 год. Пулковская обсерватория. Анна Богданова, переписчица метеосводок, находит в архиве дагерротип тридцатилетней давности. На снимке она сама — трёхлетняя девочка, бегущая по аллее имения, которого больше нет. За бракованным кадром тянется шлейф тайн: исчезнувший отец-астроном, пожар в западном крыле, учение загадочного мудреца Хамара о «VERO» — первооснове бытия.

Так начинается путешествие в ткань мироздания. Гравитация здесь — не сила, а очередь тоскующих частиц. Время — гонец, доставляющий письма. Смерть — не конец, а момент доставки. А яблочное семечко в кармане старого платья хранит чертёж целого сада.

Анна создаёт собственную теорию реальности — поэтичную, дерзкую и пугающе убедительную. Но откровение имеет цену. В мире, где женщинам запрещено смотреть в телескоп, её тетрадь может стоять ей места, свободы и, возможно, жизни.

«VERO: Этюды о ткани мироздания» — философский роман, где наука встречается с мистикой, а проза обретает плотность поэзии.

Содержание

Пролог.	4
Глава 1. Серебро помнит	7
Глава 2. Тяжесть неподвижных	18
Глава 3. Феноменология	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Семечко

Пролог.

(Место действия: затемнённая комната.

Время: безвременье.)

Сначала был не свет.

Свет приходит потом, когда уже есть кому смотреть и есть на что.

А до света была просто готовность — как

натянутая струна, которая ещё не знает, что такое звук, но

уже не хочет быть

просто жилой. Эта готовность не имела имени, потому что имена требуют языка, а язык требует губ, а губы требуют плоти, а плоть — это уже результат, а не начало.

Но если очень нужно назвать её хоть как-то, назовём: **VERO**.

Не частица. Не волна. Не поле в том смысле, в каком физики чертят мелом на доске.

VERO — это шёпот, который остаётся, когда всё остальное замолкает.

Это «да» без «нет», потому что «нет» ещё не изобрели.

Это способ быть, не занимая места.

Представьте, что вы закрыли глаза и

пытаетесь вспомнить лицо человека, которого никогда не

видели. Вот это

усилие — чистое, беспредметное, не

отягощённое надеждой на успех — и есть

VERO в его изначальном состоянии. Оно

не ждёт результата. Оно и есть результат.

Но так не может длиться вечно. Не потому

что вечность конечна, а потому что быть

— значит меняться, а меняться — значит

однажды споткнуться о собственную тень.

И вот одна **VERO**, ничем не отличимая от

других, вдруг замедляет свою внутреннюю

пульсацию. На долю тона. На ширину

атома. На ту невыносимо малую

величину, которая отделяет сон от

пробуждения.

Этого достаточно. В ткани возникает

складка. Складка хочет расправиться. Она

ищет другую такую же — и находит.

Они сплетаются мантиями, пытаясь

восстановить утраченную гладкость. Но в

месте их встречи рождается напряжение, которого раньше

не было. Это

напряжение мы потом назовём

гравитацией. А пока у него нет названия, есть только смутное, почти невыносимое

ощущение: «Меня касаются. Я отдельно».

Так начинается время. Так начинается пространство. Так начинается всё.

И где-то там, в бесконечно далёком будущем этой первой складки, девочка по имени Анна стоит на пороге архива и смотрит на дагерротип, не зная, что смотрит на собственное рождение. А где-то ещё дальше, уже за пределами её жизни, человек, которого она никогда не узнает, читает эти строки и чувствует, как что-то внутри него — какая-то крошечная **VERO**, уставшая стоять в очереди к центру Земли — вдруг вздрагивает и на секунду перестаёт весить.

Это не начало истории. Это начало слушания.

Потому что всё уже было сказано — ещё до того, как появились слова. Просто нужен был тот, кто согласится стать ухом.

И этим ухом стала она.

А теперь — вы.

Глава 1. Серебро помнит

15 октября 1875 года. Пулково. Час, когда мёртвые вещи говорят громче живых.

Пластина лежала в ящике с надписью «Derpt. Sternwarte. 1839. Брак». Чья-то рука — может быть, самого директора, а может, и ассистента, давно

переведённого в Казань, — вывела на полях инвентарной карточки одно только

слово: «Дефект. Размытие по нижнему краю». Анна выдвинула ящик, и сухое

дерево запело. Долгую, скрипучую ноту, от которой заныло под ложечкой — там, где, как она теперь знала, Мантии её внутренних VERO сжимались в ожидании удара. Пальцы сами нашарили стекло.

Тяжёлое. Обжигающе холодное. Холод этого стекла был не тот, что в кувшине

для умывания по утрам. Тот — кусачий, поверхностный, заставляющий кровь

бежать быстрее.

Этот — глубинный, идущий не от ноябрьского сквозняка, а оттуда, где нет ни ноября, ни сквозняка, ни самой крови.

Она поднесла пластину к окну. Серый

свет зари лёг на эмульсию — и отпрянул, не в силах проникнуть в серебро. И тогда она зажгла свечу.

Жёлтое пламя качнулось, и проступили контуры. Восточное крыло. Три тополя — пирамидальные, отец называл их «тремя сёстрами», хотя они не были сёстрами, просто росли из одного корня. Аллея, уходящая к пруду. И в левом нижнем углу

— то, за что пластину списали в брак.

Размытый след. Детское лицо, смазанное долгой выдержкой. Приоткрытый рот.

Руки, расставленные в стороны — не для равновесия, для радости.

Она смотрела на это лицо и не узнавала себя. Не потому, что забыла. Потому что та девочка ещё не знала, что бежит в кадр. А она, Анна, знала, что та уже никогда из него не выбежит.

Пластина жгла ладони. Она перевернула её — и увидела на обороте, на потускневшей медной фольге, царапину.

Не царапину — букву. «А». Отец всегда метил свои снимки первой буквой её имени. Говорил: «Ты — моя главная переменная, Аннушка. Единственная, которую я не могу

вычислить до конца».

Она не заплакала. Слезы — трение жидкости о глазное яблоко. Бесплезная траста информации. Вместо этого она прижала стекло к груди и закрыла глаза. И тогда прошлое перестало быть прошлым.

Сначала пришёл запах. Сухой, едкий — химический раствор, которым отец обрабатывал пластины. Йод. Ртуть. И что-то ещё, неуловимое — может, сам воздух «Зеркального», настоящий на яблоках и влажной траве.

Потом пришёл звук.

Не голос — смех.

Короткий, грудной, обрывающийся на полуслове, как будто отец засмеялся и тут же замолчал, вспомнив о чём-то важном.

А потом — удар сердца. Один. Глухой. Не её — его. Она не слышала это сердце, она ощутила его в ладонях, как ощущают вибрацию маятника, прижав пальцы к чугунной плите.

Она открыла глаза. Пластина лежала на её коленях. Свеча оплывала. В архиве пахло йодом и старой кожей. Но в груди, там, где только

что билось чужое сердце, росла тяжесть — не та, что бывает от

усталости, а та, что знакома каждой VERO, получившей письмо, которое она не в силах ни распечатать, ни выбросить.

Она отложила пластину и достала отцовские бумаги. Бечёвка лопнула с тихим, сухим треском — как будто что-то внутри самого свёртка наконец решило, что ждало достаточно. Из пачки

выскользнул плоский деревянный пенал.

Анна открыла его и замерла.

В пенале лежала книга. Вернее, то, что от неё осталось: обгоревший переплёт с остатками тиснения, спекшиеся страницы, похожие на окаменевшие древесные

листья. На внутренней стороне обложки уцелела надпись — чернила выцвели до рыжины, но буквы читались:

«Сергею Богданову, другу и оппоненту. В надежде, что свет разума рассеет мрак заблуждений. Барон А. фон Мейендорф. 1837».

А ниже — отцовской рукой, уже почти неразличимой:

«Свет разума рассеивает что угодно,

кроме самого мрака. В этом и беда».

Анна отложила книгу. Пальцы дрожали — не от холода. Она знала эту историю. Не из писем, не из рассказов матери. Из тишины, которая наступала в доме каждый раз, когда кто-то неосторожно произносил имя Мейендорф. Тишина была такая плотная, что в ней, казалось, можно задохнуться.

Отец никогда не говорил о бароне.

Никогда не объяснял, почему его перестали печатать. Никогда не отвечал на вопросы. Просто замолчал — так, как замолкают VERO, когда все гонцы убиты, а письма больше некому нести.

Теперь Анна смотрела на обгоревший переплёт и видела не книгу. Она видела пламя, пожирающее западное крыло имени Мейендорфа. Видела багровые отсветы на снегу, чёрный дым над голыми тополями. Видела фигуру, стоящую у окна «Зеркального» спиной ко всему происходящему. Она не знала, поджёг ли её отец дом человека, который его погубил. Не знала — и не хотела знать. Потому что знание — это информация, а

информация в ткани VERO не исчезает. Она просто меняет адресата. И если она сейчас, через сорок лет, примет это знание — оно станет частью её собственной конфигурации. Ещё одним шрамом на Мантии. Ещё одним грузом в очереди к центру Земли.

Она закрыла пенал.

Заметка о пожаре выпала из пачки сама — пожелтевшая вырезка из «Санкт-Петербургских ведомостей» за июль 1839 года. Анна не стала читать. Она знала, что там: «возгорание в западном крыле, причина не установ-

лена, ущерб

значительный, жертв нет». Жертв нет.

Отец не убивал. Он только смотрел из окна на багровые отсветы и молчал. А потом замолчал навсегда.

Она убрала вырезку обратно и нащупала на самом дне пачки сложенный вчетверо лист рисовальной бумаги. Развернула — и перестала дышать.

Рисунок углём. Стена. Исполинские каменные блоки, подогнанные друг к другу с точностью, недоступной ни одному известному инструменту. Баальбек.

Терраса, которую не могла построить ни одна известная цивилизация. Под рисунком — отцовской рукой, но явно с чужих слов: «Они знали то, что мы забыли. VERO не требует корабля. Оно требует состояния».

А на обороте — приписка, сделанная другим нажимом, другим пером, другой рукой. Почерк был чужой, но буква «V» в слове «VERO» изгибалась точно так же, как в отцовских

пометках на полях

«Эфемерид».

Как будто рука, писавшая это, знала, что однажды её прочтёт Анна.

«Аннушка. Тяжесть — не свойство камня.

Это память, забывшая о себе. Каждая

частица, из которой ты состоишь, помнит, что когда-то она была частью целого. Она

не хочет падать. Она хочет вернуться. И то, что ты называешь весом, — это просто очередь. Самая длинная, самая терпеливая очередь в мироздании.

Миллиарды VERO, стоящих в ожидании, когда кто-то примет их письмо. Не бойся

тяжести. Бойся пустоты, в которой никто никого не ждёт».

Анна прижала лист к груди. Она не знала, кто такой Хамар.

Она не знала, почему отец записывал его слова, не ссылаясь на него ни в одной публикации. Она знала только одно: эта приписка была адресована ей. Не трёхлетней девочке, бегущей через кадр. Сорокалетней женщине, сидящей в архиве на краю империи, в час, когда время останавливается.

За окном занимался рассвет. Не тот, что накануне — разбавленное молоко, тронутое ржавчиной, — а другой: резкий, почти белый, высвечивающий каждую трещину в штукатурке, каждую пылинку, застывшую в столбе света. Анна

поднялась. Колени затекли, спина ныла.

Она прошла к столу, где лежали чистые метеорологические бланки — та самая бессмысленная работа, которой директор наградил её вместо часов на рефракторе.

Взяла один лист. Посмотрела на него долгим взглядом — и вдруг резко, с треском вырвала из стопки.

Бумага пошла неровно. Край остался рваным.

Она прижала лист ладонью к столу и

зажгла свечу. Потом вынула из ящика чистую тетрадь — казённую, в кожаном переплёте, выданную для описи метеонаблюдений, — и раскрыла на первом листе.

Чернила схватились морозцем. Перо скрипело. Она вывела:

«VERO: Этюды о ткани мироздания. Часть первая. Свет на выдержке».

А потом, почти не дыша, придвинула свечу и записала вопрос, от которого теперь зависела вся её жизнь:

«Если свет с дагерротипа 1835 года достиг меня сейчас, пройдя сорок лет сквозь серебро и память, то где он будет через сто лет? Через тысячу? И существует ли во Вселенной что-то — или кто-то — кто примет этот сигнал не как дефект изображения, не как брак серебра, а как чистый акт присутствия?»

Она перечитала написанное. Чернила блестели, не успев высохнуть. Буквы казались живыми — не в переносном смысле, а в том самом, о котором говорила приписка на обороте. Каждая VERO, составлявшая чернила, получила

её приказ и теперь несла его в себе, как гонец несёт запечатанный конверт.

Она не знала ответа. Но впервые за сорок лет ей не было страшно от того, что она его не знает. Страшно было другое: умереть, так и не задав этот вопрос вслух.

Анна закрыла тетрадь. Провела ладонью по тиснёной коже — кожа была сухая, чуть шероховатая, пахнувшая ледерином и временем. Она знала: эта тетрадь ещё не закончена. Более того — она никогда не будет закончена, потому что вопросы, рождённые в ткани

VERO, не имеют

последней страницы. Но она также знала: именно здесь, на этом рваном листе, испачканном воском и чернилами, начинается то, что невозможно будет остановить. Никакой резолюцией.

Никаким доносом. Никаким огнём.

Свет уже пошёл. Оставалось только не закрывать глаза.

В кармане платья, за подкладкой, она нащупала крошечную твёрдую косточку.

Яблочное семечко. Непонятно, как оно там оказалось. Она не помнила, чтобы клала его. Сжала в кулаке. Оно почти ничего не весило — но руку тянуло книзу, как тянет книзу

странная мысль, от

которой невозможно отмахнуться.

Где-то далеко, за миллиарды вёрст и сорок лет, май 1835 года всё ещё длился.

Девочка всё ещё бежала. Свет всё ещё летел. И Анна Богданова, переписчица

метеосводок, архивная крыса, женщина

без права смотреть в большой рефрактор, наконец перестала делать вид, что не

хочет его догнать.

Глава 2. Тяжесть неподвижных

вещей.

16 октября 1875 года. Пулковое. Утро.

Утром архив возвращал себе статус казённого помещения. Ночные тени покидали углы, запах йода смешивался с запахом угольной пыли из коридора, и стеклянные пластины в дубовых ящиках снова становились просто учётными единицами — без лиц, без голосов, без

обещания ответа. Анна сидела за конторкой, переписывая сентябрьские барометрические таблицы, и чувствовала, как стынут

пальцы в митенках. Цифры

ложились на бумагу ровными столбцами, но мысли её были не здесь. Они всё ещё

бродили по аллее восточного крыла «Зеркального», где трёхлетняя девочка в размытом движении бежала навстречу объективу и не знала, что бежит в

вечность.

Перо царапнуло бумагу, оставив кляксу. Анна отложила его и вышла в коридор.

Нужно было найти расчёты отца по

орбите кометы Галлея — Герман Карлович велел подготовить сводку для приезжего профессора, и отказаться значило снова выслушать про «не дамское занятие». Она прошла мимо маятника Фуко, чей латунный диск чертил в песке на полу невидимую линию вращения Земли, и толкнула тяжёлую дверь библиотеки.

Здесь пахло нагретой за день пылью и старой кожей переплётков. Анна провела кончиками пальцев по корешкам — многие книги стояли здесь с основания обсерватории, и кожа их потрескалась от сухости, как земля в засуху. «Эфемериды малых тел» с фамилией отца на титуле нашлись не сразу: кто-то задвинул их за массивный том ньютоновских «Начал», словно стесняясь

соседства любительских

заметок с великим трактатом.

Она взялась за корешок «Начал», чтобы отодвинуть их, — и замерла. Книга не просто весила.

Она давила книзу с какой-то личной, почти обидной настойчивостью, словно в ней спал не только Ньютон, но и все, кто за

триста лет вчитывался в эти строки в поисках незыблемости. Пыль, впитавшая дыхание поколений астрономов, добавила свой вес. VERO книги, поняла Анна внезапно, стояли в очереди на прочтение — и эта очередь тянула книгу к центру Земли сильнее обычного. Не масса бумаги. Информация, ждущая, чтобы её считали. Она выдохнула и бережно, почти благоговейно сдвинула том в сторону. Она раскрыла отцовскую книгу на середине и замерла.

Страницы были испещрены его почерком — острым, летящим, с наклоном вправо, словно буквы तोпились обогнать мысль.

На полях, возле абзаца о пределах досягаемости небесных тел, она заметила следы воска — три капли, застывшие много лет назад. Отец читал здесь ночью, при свече, и воск капал на страницу, а он не замечал.

Анна поднесла страницу к лицу. От бумаги ещё исходил слабый, едва уловимый запах табака. Того самого, что она помнила с трёх лет.

Она провела пальцем по карандашной

линии — отец подчеркнул слово «тяготение» так сильно, что грифель продавил бумагу. Рядом, тем же летящим почерком, стояла пометка: «Человек никогда не покинет колыбель тяготения. Только если покинет не телом». А ниже, с другим нажимом — более сильным, почти яростным, — было приписано одно слово: «VERO».

И тут же, заложенный между страницами, лежал сложенный вчетверо лист плотной рисовальной бумаги. Анна развернула его и затаила дыхание.

Рисунок углём: стена из исполинских каменных блоков, подогнанных друг к другу с такой невероятной точностью, что в стык между ними не вошло бы лезвие бритвы. Баальбек.

Терраса, которую не могла построить ни одна известная цивилизация. Камни весом в тысячу тонн, уложенные так, словно они ничего не весили. Под

рисунком — отцовской рукой, но явно с чужих слов: «Они знали то, что мы забыли. VERO не требует корабля. Оно требует состояния».

Она перевернула лист. На обороте была приписка:

«Аннушка, мы ищем способ передвинуть вещь в пространстве. Но вещь — это лишь узор из забывших о своём единстве частиц. Тяжесть — не свойство камня. Это привычка частиц прижиматься друг к другу, чтобы заглушить тоску по целому. Разомкни привычку — разомкнётся и путь. Не тело должно лететь. Должна проснуться память».

— Анна Сергеевна, вы опять с отцовскими фантазиями?

Она вздрогнула и обернулась.

В дверях стоял Пётр Степанович, младший ассистент по спектральному анализу. Он держал в руках колбу с мутной жидкостью, и его вечно приподнятая правая бровь придавала лицу выражение снисходительного любопытства. Но сегодня в этом любопытстве сквозило что-то ещё — не тревога, но настороженность, как у человека, который издали почуял запах дыма.

— Я вижу, вы книгу его нашли. Ну и что?

Серебро окислилось, эмульсия поплыла, а вы ищете тайны мироздания в браке дагерротиписта. Ей-богу, Анна Сергеевна, вы бы лучше спектры научились читать —

там, по крайней мере, линии Фраунгофера не врут.

Она закрыла книгу и прижала её к груди.

— Пётр Степанович, вы когда-нибудь задумывались, почему вы не можете просто протянуть руку и дотронуться до звезды?

Он хмыкнул:

— Потому что она далеко. Расстояние, барышня. Сотни световых лет.

Элементарная физика.

— Нет. Потому что у вас есть тело. Оно весит четыре пуда и притянуто к земле. А у света тела нет. И он долетает.

Петя на мгновение растерялся. Его правая бровь опустилась, сравнившись с левой, и лицо на секунду стало почти детским, беззащитным. Рука его дернулась к вороту сюртука —

мимолётный, почти произвольный жест, каким проверяют, на месте ли что-то, спрятанное на груди. Анна заметила этот

жест. Петя заметил, что она заметила. Он отвёл взгляд и тихо, почти нехотя произнёс:

— Знаете, мой отец тоже... увлекался. Спекулятивная натурфилософия, тайные свойства эфира, животный магнетизм. Кончил в лечебнице. В Горках. Я ему носил передачи до последнего.

Он уже не узнавал. Но всё шептал что-то — какие-то формулы, имена, будто разговаривал с невидимыми собеседниками. А однажды сказал мне:

«Петька, ты не слушай, когда они говорят, что ничего нет.

Есть. Оно шуршит». Я не

знаю, что шуршит. И не хочу знать.

Анна молчала. Петя смотрел в окно, и колба в его руке чуть подрагивала. Он снова заговорил, и в голосе его прорезалась неожиданная мольба — не к ней, к самому себе:

— Я не хочу, как он, Анна Сергеевна. Не хочу слышать то, чего нет. Лучше спектры. Спектры безопасны. В них есть линии — чёткие, ясные, на своих местах. Они не шепчут. Они не сходят с ума.

Он попытался надеть на лицо привычную

усмешку, но та держалась нетвёрдо.

Потом резко повернулся и вышел — быстрее, чем обычно, забыв закрыть за собой дверь. Каблуки простучали по чугунным плитам и стихли.

Анна осталась одна. Она вышла в зал с маятником, где обычно прогуливалась Лиза — жена механика, приходившая в обсерваторию к мужу и коротавшая часы ожидания за сочинением стихов. Лиза стояла у окна с карандашом и записной книжкой, и лицо её было вдохновенным, как у пифии.

— Аня, послушай, — сказала она, заметив подругу, и прочла с выражением:

«И звёздная пыль на ресницах осела. Я слышу, как дышит вселенское тело...»

Анна помолчала. Потом сказала мягко: — Это красиво, Лиза. Очень. Но там, — она кивнула в потолок, в сторону башни рефрактора, — не звёздная пыль. Там Венера. Планета. И дышит она серной кислотой, а не стихами.

Лиза опустила карандаш. На секунду её лицо дрогнуло — Анна уже пожалела о своих словах. Но потом Лиза вдруг улыбнулась — тихо, понимающе.

— Значит, и у Венеры душа кислая. Но всё равно дышит. — Она замолчала и вдруг добавила совсем тихо, не в рифму, почти шёпотом: — А я сейчас, наверное, как Луна. Пустая, холодная, и свет не

свой. Только отражённый. От твоих звёзд, от твоих формул. Ты хоть тяжёлая, но живая. А я лёгкая, как пыль. И никому не нужная.

Анна вздрогнула. «Тяжёлая, но живая». Лиза, сама того не зная, только что дала ей ключ: тяжесть не всегда проклятие. Иногда — свидетельство присутствия. Не физический вес, а накопленная информация о прожитых днях, о привязанностях, о тоске — всё, что делает VERO плотнее, собраннее, заметнее в ткани бытия. Лёгкость Лизы была не свободой, а отсутствием. Её гонцы остановились, писем нет, и даже гравитация словно забыла о ней. — Ты не лёгкая, Лиза, — сказала Анна медленно, всё ещё глядя на маятник.

— Ты ждёшь. А ожидание весит больше, чем любое письмо. Просто его не видно. Но оно давит.

Лиза посмотрела на неё долгим взглядом, в котором стояли слёзы, но не пролились.

Она кивнула — не соглашаясь, а принимая утешение, и отвернулась к окну. Анна поняла, что разговор окончен, и тихо вышла.

Она вернулась в архив. Тишина здесь стала гуще — казалось, её можно потрогать рукой, как бархатную штору. Анна села за стол, придвинула свечу и раскрыла тетрадь. Слова отца всё ещё звучали в ней: «Тяжесть — не свойство камня. Это привычка». Она перечитала написанное и вдруг замерла, глядя на свой указательный палец — тот самый, что вчера пострадал от занозы.

Привычка. Если вес — это привычка частиц помнить о разрыве и забывать о единстве, то достаточно вспомнить правильно — и вес исчезнет.

Она закрыла глаза. Она не молилась — она приказывала. Вернее, не приказывала, а уговаривала, как уговаривают замёрзшие пальцы согнуться. Она представила, как крошечные, невидимые частицы в

подушечке её указательного пальца перестают прижиматься друг к другу в поисках утраченного равновесия. Как они расправляют свои заботливые, эластичные оболочки. Как вспоминают, что они не одиноки.

Ничего не произошло.

Анна открыла глаза и усмехнулась. Палец никуда не делся. Он весил ровно столько же, сколько минуту назад. Но когда она перевела взгляд, то увидела: пузырёк с чернилами, стоявший на краю стола, едва заметно качнулся, хотя сквозняка не было. Крошечная волна прошла по поверхности чернил — и успокоилась. Пылинки в столбе света на секунду застыли, как если бы само время споткнулось. А потом всё пошло своим чередом.

Анна затаила дыхание. Сердце стучало гулко, неровно. Она не могла поручиться, что это не игра воображения. Но она знала: что-то отозвалось. Кто-то на другом конце вселенной не просто кивнул — перехватил письмо. Её пальцы, всё ещё дрожащие от напряжения, отбивали по столу неровный ритм — неосознанно, как

отбивают ритм, когда слушают далёкую музыку.

Она записала в тетради:

«Если вес — это память о разрыве, то достаточно вспомнить целостность, чтобы стать невесомой. Но как напомнить частицам моего тела о том, что они забыли?»

Вопрос не в механике. Вопрос в пробуждении. Первая попытка: палец. Результат неясен. Но что-то дрогнуло. И чернила это видели».

Чернила блестели в пламени свечи, не успев высохнуть.

Где-то внизу, в лабораторном крыле, застучал молоток механика — мерно, настойчиво, словно огромное сердце обсерватории, — но теперь этот звук не раздражал, а казался частью огромного, ещё не расшифрованного ритма.

В кулаке было зажато семечко. Она разжала пальцы и посмотрела на коричневую морщинистую кожицу.

Положила его рядом с тетрадью, и оно, казалось, само легло в такт её пульсу — крошечное, почти невесомое, но хранящее в себе чертёж целой яблони.

Тяжесть — привычка. Но и ритм — привычка. Может быть, вся разница в том, какую привычку выбрать: стоять в очереди к центру Земли или пульсировать в унисон с музыкой, которая ещё не слышна, но уже звучит.

За дверью архива кто-то тихо напевал. Лиза. Мелодия была простая, почти детская, но Анна вдруг поймала себя на том, что пальцы её — тот самый указательный, с занозой, и соседний, здоровый, — сами собой отбивают ритм.

Не по столу — по воздуху, по невидимой мембране. Семечко на столе дрожало в такт, как крошечное сердце, которое ещё не начало биться, но уже услышало музыку.

«Тяжесть — это привычка, — повторила она про себя слова отца. — А ритм — это способ разомкнуть привычку».

Она ещё не знала как. Но теперь у неё был не только вопрос. У неё был пульс. И тихий, едва уловимый стук молотка, и колыхание чернил, и дрожь семечка — всё это было обещанием, что письмо, отправленное без чернил, однажды будет

доставлено. Не силой. Ритмом.

Глава 3. Феноменология

Пространства

18 октября 1875 года. Пулковое. Час, когда даже страх становится прозрачным.

Ключ пах жестяной из-под монпансье и машинным маслом. Анна выудила его из банки, спрятанной за пожарным багром в камерке механика Никодима, и на секунду замерла, прислушиваясь к храпу за

дощатой перегородкой. Храп был ровный, утробный, с присвистом — такой не

прервётся до рассвета. Она сжала латунный стержень в кулаке, чувствуя, как холод металла просачивается сквозь шерстяную митенку и впивается в ладонь.

Сердце колотилось где-то у горла, но не от страха быть пойманной — этот страх был мелок и привычен, как казённые чернила. Сердце колотилось от предвкушения встречи с тем, чему она ещё не знала имени, но уже угадывала контуры.

Винтовая лестница пела под ногами.

Чугунные ступени отзывались на каждый

шаг низким, протяжным гулом, и Анне казалось, что она поднимается не в башню обсерватории, а в нутро гигантского музыкального инструмента.

Она ступала осторожно, стараясь не шуметь, но на полпути замерла, прижавшись спиной к холодной кирпичной

стене. Снизу, из глубины здания, ей почудились шаги — тяжёлые, мерные, словно ночной зритель совершал

обход. Сердце рванулось к горлу, кровь застучала в висках в такт скрипу невидимых половиц. Она затаила дыхание, чувствуя, как каждая живая частица в её теле сжимается в тревожный комок — Мантии сжимались, Ядра вибрировали сигнал опасности. Но шаги затихли, и тишина вернулась. Анна выждала ещё минуту, глядя в темноту, и двинулась дальше. Теперь каждый шаг был не только актом кражи, но и маленьким бунтом против собственного страха.

Дверь в башню поддалась с тихим, почти извиняющимся вздохом. Анна шагнула внутрь и остановилась, давая глазам

привыкнуть к темноте. Рефрактор
возвышался посреди круглого зала, как
спящий ихтиозавр, выброшенный на
берег. Его труба тускло отсвечивала в
свете единственного газового рожка, прикрученного до
синеватого язычка

пламени. В воздухе стоял сложный, густой
запах: машинное масло, нагретая латунь, старая кожа
уплотнителей и что-то ещё —

сухой, морозный дух самого пространства, которое втека-
ло сюда через открытый
купол и оседало на всём невидимой
изморозью.

Она подошла к механизму наведения.
Рукояти были холодны и тяжелы, они
сопротивлялись её прикосновению, словно не желали
подчиняться женщине.

Анна упрямо сжала зубы и налегла
плечом. Шестерни внутри чугунного
корпуса скрежетнули, и огромная труба
медленно, величаво качнулась, меняя
угол.

Анна смотрела не на звёздную карту, не
на координатные круги с тонкой
гравировкой — она вела инструмент по
наитию, в ту область неба, где, согласно

всем каталогам, не было ровным счётом ничего. Чёрный квадрат меж звёзд.

Пустота.

Она закрепила фиксатор и прильнула к окуляру.

Первое мгновение было разочарованием.

Глаз увидел только черноту — глубокую, абсолютную, лишённую даже намёка на

свет. Но Анна не отстранилась. Она

знала, что глаз — инструмент ленивый, он

хватает первое, что лежит на

поверхности, и успокаивается. Надо было

дать ему время. Она дышала медленно, размеренно, чув-

ствуя, как холод башни

пробирается под шаль, как стыннут пальцы

ног в тонких ботинках, как изо рта

вырывается пар и тут же тает. И

постепенно чернота перестала быть

монолитной.

Она расслоилась.

Сначала появились оттенки: угольно-

чёрный, пепельно-серый, какой-то

глубокий, ускользящий индиго. Затем —

текстура. Это было похоже на толщу

воды, если смотреть на неё из батискафа: не пустота, а сре-

да. Плотная. Упругая.

Живая. Анна чувствовала это не столько зрением, сколько какой-то древней, звериной частью сознания — той, что

просыпается в нас, когда мы входим в тёмную комнату и безошибочно знаем, что в ней кто-то есть. Пространство дышало.

Не в переносном смысле — в самом прямом, физическом. Оно не было пассивнымместилищем для звёзд и

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.